

## Н.К., бывший католик, США

(часть 1 из 5)



Я родился в небольшом городке на северо-западе Соединенных Штатов и рос в римско-католической семье. Мы беспрекословно принимали тот духовный мир, который создавала для нас церковь, но становясь старше, особенно когда поступил в католический университет и стал больше читать, моя религиозность часто оказывалась под вопросом.

Одна из причин – частые изменения в католическом богослужении и ритуалах, внесенные Вторым Ватиканским Собором в 1963 году, которые говорили прихожанам об отсутствии непоколебимых церковных стандартов. Священники твердили о гибкости и литургической актуальности, но простым верующим они казались блуждающими в темноте. Господь не менял Откровения или потребностей человеческой души, и не было новых откровений с Небес. Однако церковь ознаменовывала перемены неделя за неделей, год за годом, прибавляя, убавляя, изменяя язык с латыни на английский, в конечном итоге пропустила гитары и народную музыку. Священники не переставали объяснять, а простой народ только кивал в ответ.

Вторая причина – сложные моменты религиозного учения таких как Троица, о которой никто в мировой истории – священник или прихожанин – не мог дать разумного убедительного объяснения, и которая представлялась (по крайней мере, обычному человеку) некой группой во главе с Богом-Отцом, управляющим миром с Небес, Его сыном Иисусом, спасшим человечество на земле и Святым Духом, часто изображаемым в виде белого голубя, и играющим, по всей видимости, значительно меньшую роль. Помню, как я пытался завести дружбу только с одним из них, чтобы он уладил мои отношения с двумя остальными, и, с этой целью, усердно и искренне молился то одному, то другому. Но оставшиеся двое продолжали

упорно пребывать там же. Наконец, я решил, что Господь-Отец был среди них главным, и это стало серьезной помехой в моей католической вере, ибо ставило под вопрос божественность Иисуса. Дальнейшее размышление привело к пониманию, что человеческая и божественная сущность – это две совершенно разные вещи: человеческая – ограничена и конечна, божественная – абсолютна и бесконечна. Я не помню, чтобы когда-либо искренне верил в божественность Иисуса, в детстве или повзрослев.

Следующий момент недоверительного отношения к церкви заключался в ее торговле акциями и облигациями, названными индульгенциями. «Поступайте так и так, и ваше пребывание в Чистилище сократится» – то, против чего выступил Мартин Лютер на заре Реформации.

Я помню острую потребность в священном писании, которое могло бы стать руководством. На рождество мне подарили Библию – красивую книгу, но при попытке прочитать ее я обнаружил отсутствие последовательной цепочки событий. Ее было сложно читать, а строить жизнь в соответствии с ней – тем более. Позже я узнал, как христиане справлялись с этой проблемой. Протестанты создавали сектантское богослужение и признавали священные тексты лишь своей секты. Католики отвергали все, кроме фрагментов, упоминаемых в их богослужении. В Священном Писании не доставало чего-то, что позволило бы воспринять его как единое целое.

Более того, поступив в университет, я обнаружил, что подлинность Писания, в особенности Нового Завета вызывала серьезные сомнения, как утверждали результаты современных герменевтических исследований, проведенных христианскими учеными. На занятии по современной теологии я читал книгу Дж. Джеремиаса «Проблема исторического Иисуса» в переводе Нормана Перррина. Автор книги является одним из ведущих исследователей Нового Завета нынешнего века. Текстолог, знаток языка оригинала Библии, проведя много лет за изучением текста в итоге не мог не согласиться с немецким теологом Рудольфом Бультманом, что, вне всяких сомнений, мечта о составлении биографии Иисуса убита, имея в виду, что картину жизни Иисуса уже не восстановить, опираясь на Новый Завет. Если уж сами христианские эксперты утверждают такое, что могут сказать враги этой религии? Получалось, что Библия – это смесь правды и вымысла, предположений, внесенных поздними последователями Иисуса, противоречащих в том, кем на самом деле был Иисус и чему обучал. И если ученые теологи как Джеремиас могли убедить себя, что где-то под слоями поздних добавлений в Новом Завете все-таки существует исторический Иисус и его послание, то как может простой человек надеяться отыскать его или узнать, если отыщет?

В университете я изучал философию, а она учила задавать два вопроса каждому, кто заявляет, что знает правду: «Что ты имеешь в виду?» и «Откуда ты это знаешь?». Моя религия не смогла дать ответы, и я осознал, что в моей жизни не осталось места для христианства. Я пустился в поиск, который наверняка знаком многим западным людям – поиск смысла в бессмысленном мире.

Я начал там, где утерял мою прежнюю веру – среди философов. Но отыскать я хотел не философию, а нечто больше.

Я изучал труды великого пессимиста Артура Шопенгауэра, который говорил о феномене жизненных стадий, и что деньги, известность, физическая сила и интеллектуальность – все уходит, и лишь моральное превосходство остается. Этот пример запал мне в душу, и спустя годы я вспомнил о нем. Он также обращает внимание на тот факт, что, становясь все более взрослым, человек склонен отказываться от того, что так яростно защищал по молодости лет. Предчувствуя, что найду божественное, я решил собрать как можно больше убедительных аргументов атеизма, чтобы потом найти на них опровержение. Я прочитал работы по философии имморализма Фридриха Ницше в переводе Уолтера Кауфмана. Многогранный гений разобрал моральные суждения и верования людей восхитительными филологическими и психологическими аргументами, а в итоге обвинил человеческий язык как таковой, и язык науки девятнадцатого века в особенности, за его изначальную решительность и опосредованность понятиями, унаследованного из языка морали, что в настоящей форме они не могут и надеяться увидеть реальное положение вещей. Помимо иммунологической ценности против абсолютного скептицизма, работы Ницше поясняли, почему Запад являлся пост-христианским, и безошибочно предсказал беспрецедентную дикость двадцатого столетия, развеяв миф о том, что наука послужит моральной заменой ныне мертвой религии.

На личном уровне из его тирады о христианстве, особенно в «Генеалогии морали», я извлек пользу и поделил верования монотеистической традиции на несколько малых частей, удобных для анализа. Он отделил несущественные понятия от важных, которых, как я увидел, было только три: Господь существует; Он отправил человека в мир и определил поведение и действия, ожидаемые от него; Он станет судить людей по их деяниям и либо накажет, либо вознаградит.

Именно тогда я начал читать первые переводы Корана, которыми я неохотно восхищался (хотя сомнения агностика не покидали меня): с такой ясностью он передавал эти основные концепты. Даже если бы все оказалось ложью, более существенного выражения религии я не представлял. Как литературный труд, данный перевод (кажется, он был сделан Сейлом) источал враждебность к предмету перевода. А я знал, что оригинал на

арабском выделялся красотой и красноречивостью среди священных писаний. У меня возникло желание изучить арабский, чтобы прочитать оригинал.

Как-то во время каникул я шел по грязной дороге меж пшеничных полей. Солнце садилось, и я почувствовал, что наступает время поклонения, время молитвы одному Богу. Но в таких вещах человек не может полагаться на интуицию, чтобы узнать все подробности. Скорее, это было началом понимания, что атеизм – неестественный образ бытия.

Часть этого беспокойства я унес с собой, когда приехал в университет Чикаго, где изучал гносеологию этической теории, как осуществлялось моральное суждение. В книгах по философии я искал нечто, что бы пролило свет на вопрос бесцельности. В этом заключался мой личный интерес, к тому же это было основной философской проблемой нашего времени.

Как утверждали одни, научное наблюдение может дать только описательное утверждение по шаблону «X является Y». К примеру, объект является красного цвета, его вес является два килограмма и т.д. Здесь функциональным элементом выступает «является». В моральном же суждении функциональную роль выполняет «следует», которое, как выяснилось, было логически бессмысленным, а вместе с ним и все моральное. Это напомнило мне совет Лукиана: тот, кто встретит на пути приверженца моральной философии, пусть бежит от него как от бешеной собаки. Для такого человека главенствующей была целесообразность.

### (часть 3 из 5)

Учеба в Чикаго стоила недешево, и мне пришлось подыскать работу на лето. Меня приняли на лодке, которая рыбачила на Аляске. Я встретил разных людей, ощутил мощь и величие ветра, моря, штормов, дождя и слабость человека. Окружающее нас было подобно огромной книге, но мы, рыбаки, могли прочесть лишь несколько строк, интересовавших нас: наловить как можно больше рыбы за определенное время и выгодно продать. Мало кто мог прочесть книгу целиком. Иногда ветер поднимал волны величиной с холмы, капитан хватался за штурвал, мы как будто падали в долину зеленой воды к самой подошве волны, и в следующий миг судно подбрасывало к небу.

В начале службы палубным матросом я прочитал книгу Жана Поля Сартра «Бытие и ничто», которая напоминает рукописи Маркса (1844) где сущность определяется человеком; например, когда мистик видит древостой, то в его сознании возникает совсем не тот образ, который возник бы у поэта или капиталиста при виде того же самого древостоя. Для мистика древостой – это воплощение, для поэта – лес, для капиталиста – древесина. По аналогии

можно сказать, что гора воспринимается альпинистом как определенная высота, которую надо покорить и т.д. Вот только огромное море, казалось, ни во что ни ставило наши попытки договориться с ним. Оно просто кидало нас из стороны в сторону, а мы не понимали его, и не могли знать, сможем ли выбраться из этого. Многие, точно знаю, просили помощи у Бога в такие моменты, но стоило им ступить на берег целыми и невредимыми, как они строили из себя людей, едва ли знающих о Нем; как будто там, в море, ими одолевало безумие, о котором неловко вспоминать потом. Это был один из уроков, который преподало нам море. И такие моменты не просто существовали, пожалуй, преобладали в нашей жизни. Человек мал и слаб, а силы вокруг него велики и неподвластны ему.

Бывало, лодки тонули, и люди гибли. Помню рыбака с другого судна, однажды работавшего с нами; он делал то же, что и я – чистил сети. Он улыбался, аккуратно складывая сети на корме для следующего выхода в море. Несколько недель спустя в шторм его судно опрокинулось, он запутался в сетях и утонул. Как-то после этого я видел того рыбака во сне: он стоял на корме своего судна и звал меня.

Был и капитан – молодой человек двадцати семи лет, который каждый год поставлял крабов с Берингова моря. Мы были на Кадьяке, когда я впервые услышал о нем. Его судно стояло в доке после долгого плавания. Сам капитан был болен и лежал в каюте: его рвало кровью, потому что прошлой ночью он проглотил стекло, чтобы доказать, каким крутым он был.

Позже я встретил его в Беринговом море в конце долгого зимнего сезона императорских крабов. Он работал в рулевой рубке, окруженный радио, способный поймать сигнал откуда угодно, компьютеров, Лоран, сонара, эхолота, радара... Его команда работала круглые сутки даже в самых жестких условиях под пристальным наблюдением громадных прожекторов, которые превращали в день даже нескончаемую зимнюю ночь. Капитан славился суровым нравом: однажды он заставил команду проторчать на палубе целых одиннадцать часов под дождем только потому, что один из них зашел за чашкой кофе без его дозволения. Мало кто задерживался у капитана больше чем на сезон, хотя их полугодовой заработок почти вдвое превышал годовой доход, скажем, адвоката или рекламного работника. Люди зарабатывали состояние в Беринговом море в те годы, пока перелов не истребил почти всех крабов.

Судно капитана стояло на якоре. Он был довольно обходительным, когда мы причалили к нему. Он поднялся на борт, чтобы поговорить с нашим капитаном. Они сидели достаточно долго, время от времени вглядываясь в море через окна или двери, или внимательно взирая друг на друга, когда речь заходила о чем-то любопытном, например о том, что думают о них

соперники. «В прошлом году я провел дома только одну ночь», – сказал капитан.

Позже он велел команде приготовить снасти и поднять якорь. Глаза капитана мерцали над водой, когда трогалось его судно. Его бдительность, крепкое моржеподобное телосложение, бесконечные плавания после азартных игр или покупок напомнили мне морских хищников-охотников. Такие люди умеют зарабатывать, но ничего не знают (да и не хотят) о конечной цели или смысле жизни. Меня всегда интересовало, неужели люди не нуждались в принципах, которые стали бы направлять их или напоминать, для чего мы пришли в этот мир. Без таких принципов, мало что отличало нас от тех же хищников-охотников, разве что мы были более подготовлены технически к продолжительной охоте в более крупных масштабах и с большими разрушениями, нежели животные на которых мы охотились.

#### (часть 4 из 5)

Во второй год обучения в университете Чикаго, исследуя философские моральные системы, я узнал, что в последние годы философия не смогла оказать существенного влияния на человеческую мораль и предотвратить несправедливость; и понял, что ей этого не удастся и в будущем. Я увидел, как сравнение многообразных культурных системы и обществ привело интеллектуалов к моральному релятивизму; поскольку им было не найти моральные ценности, которые бы подошли представителям различных культур; размышления, ведущие к нигилизму – мнению, которое рассматривает человеческую цивилизацию как растение: они дают ростки – разные из разных семян, цветут какое-то время и умирают.

Одни объявили это интеллектуальным освобождением. Среди них Эмиль Дюркгейм и его «Элементарные формы религиозной жизни» а также Зигмунд Фрейд с книгой «Тотем и Табу», которые рассматривали человека как пациента и диагностировали его религиозные традиции как форму коллективного невроза, которую сегодня стало возможным излечить с помощью абсолютного научного атеизма – своеобразное исцеление через науку.

На эту тему я приобрел перевод книги Юргена Хебермаса «Знание и человеческие интересы». Автор утверждал, что не существует такого понятия как чистая наука, которой смело можно было бы доверить совершенствование себя и мира. Это недопонимание он назвал псевдонаучным. В реальном мире – полагает Хебермас – наука не лишена ценностей, хотя они не столь значимы.

Хебермас принадлежал к поколению немецких ученых, понимающих в тридцатые и сороковые года, что происходит в их стране, однако настойчиво утверждали, что живут в мире науки и занимаются интеллектуальным образованием, и что им незачем задумываться, как государство использует их исследования. Огромный вопросительный знак встал перед немецкими интеллектуалами, когда нацистская жестокость и злодеяния стали общественными после войны. Это заставило Хебермаса глубоко задуматься об идеологии чистой науки. Если что-либо и было очевидным, так это неубедительность оптимизма мыслителей девятнадцатого века, таких как Фрейд и Дюркгейм.

Я стал пересматривать интеллектуальную жизнь вокруг меня. Как и Шопенгауэр, я полагал: чем выше образование, тем выше и сам человек. Но в университетской лаборатории я застал людей за разговором о фальсификации научных данных, чтобы обеспечить финансирование на следующий год; помню выдающихся профессоров, не позволяющих записывать свои лекции на пленку из страха, что ими воспользуются соперники – исследователи в той же области, чтобы опередить их; профессоров, соревнующихся в продолжительности учебных программ... Качества, которые я привык приписывать простым грешным, казалось, встречались среди изощренных академиков отнюдь не реже, чем у рыбаков. Мы можем посмеяться над рыбаками, которые, желая похвастаться удачным уловом, маячат неподалеку от других суден под предлогом наловить еще больше, чтобы все увидели, как их лодка чуть ли не тонет под тяжестью пойманной рыбы. А ведь кандидаты наук ведут себя точно так же со своими книгами и статьями, как и рыбаки с рыбой. Я видел, что их знание не возрастило в них высоких личностей. Стало быть, секрет высшей человеческой сущности заключался вовсе не в величине их познаний.

Мне стало интересно, не дошел ли я до конца, следуя по пути философии. Она опровергла для меня христианство, поделилась собственными идеями, и, тем не менее, оставила безответными главные вопросы. Более того, мне казалось, что это каким-то образом связано (не знаю точно, как причина или следствие) с фактом, что наша интеллектуальная традиция, похоже, уже не могла понять себя. Возьмите любого человека – философа, рыбака, мусорщика или короля, и вы увидите, что он не кто иной, как актер в драме, о которой не знает ничего. Он усердно исполняет свою роль, пока не настанет черед завершающей сцены и на замену придет кто-то другой. Мог ли кто-нибудь обоснованно надеяться на нечто большее? Я прочел «Введение в чтение Гегеля» Александра Кожева, где он объясняет, что для Гегеля философия достигала вершины не в системе, а в Мудром Человеке, способном ответить на любой вопрос с этическим смыслом.

Получалось, как будто бесподобное овладение эпохи конкретными вещами превращало нас в предметы. Я противопоставил этому гегелевское понятие о конкретном в его «Феноменологии духа». В его понимании примером абстрактного может служить ограниченная физическая реальность книги в ваших руках в данный момент. Конкретным же он называл взаимосвязь книги с большими реалиями, ставшими ее предпосылками: способ производства, определивший вид чернил и бумаги книги, эстетические нормы, продиктовавшие ее цвет и дизайн, система маркетинга и распространения, доставившие ее читателю, исторические обстоятельства, обусловившие грамотность читателя и его вкус, культурные события, содействовавшие стилю и использованию – в общем, гораздо более обширная картина возникновения книги. Для Гегеля движение философского исследования всегда вело от абстрактного к конкретному – более реальному. Поэтому он мог утверждать, что философия неизменно вела к теологии, чей объект, в конечном итоге, был реальным – Божество. Как мне казалось, это подчеркивало непоправимое упущение нашего времени. Мне стало любопытно, не отдалили ли мы себя от нашей человечности, от нашего подлинного естества в отношении более высокой реальности, материализуя нашу культуру и наше прошлое.

Как раз в этот момент я прочитал несколько книг об исламе. Среди них – книги Саида Хусейна Насра, который считал причиной многих проблем западного человека оставление божественной мудрости ниспосланной религии, которая разъяснила бы истинное положение человека как творения Бога в мире природы и научила бы уважать и любить ее. Не ведая этого, человек превратил природу в предмет потребления, что погубило его мир снаружи, оставив человека пустым внутри. Все потому, что человек не знал, почему и для чего он живет на этом свете.

Я подумал, что это могло бы быть правдой, но напрашивался вопрос о достоверности ниспосланной религии. Все на земле, всякая мораль или религия были в одной лодке, если только кто-то не мог с уверенностью заявить, что какая-нибудь из них происходит из более высокого, авторитетного источника – единственная гарантия объективности, морального закона. А иначе, мнение одного человека имело бы ту же ценность, что и мнение другого, и мы бы пребывали в однообразном море личных противоречивых интересов, в котором никто не мог бы обоснованно возразить против сильного, пожирающего слабого.

## **(часть 5 из 5)**

Среди прочих книг об исламе я прочитал «Книгу, избавляющую от ошибок» Газали, который после периода сомнений и долгих размышлений осознал, что в целом мире не существует иного света, несущего озарение



истины, кроме того, что исходит от пророческого откровения. Именно к такому выводу и подводили мои философские изыскания. В лице божьего посланника и был тот Мудрый Человек, о котором писал Гегель. Только он имел право разъяснять понятия добра и зла.

Я также прочел «Перевод-интерпретацию Корана» Арберри, и вспомнил мое прежнее желание найти священную книгу. Даже в переводе превосходство мусульманского писания над Библией было очевидным в каждой строке. Как будто настоящее божественное писание, о котором я лишь смутно слышал на протяжении всей жизни, вдруг оказалось у меня перед глазами: возвышенный стиль, сила, непоколебимая завершенность, поразительная уверенность, с которой опровергались аргументы атеистов. Здесь Бог был Богом, а человек – человеком. Это было откровение о повергающем в трепет Единстве Бога, и в то же время откровение о социально-экономической справедливости среди людей.

Я начал учить арабский, находясь в Чикаго, и после года довольно успешного изучения грамматики, принял решение взять академический отпуск, чтобы овладеть языком, и отправился в Каир. Мной так же двигало желание открыть новые горизонты. Так, по окончании третьего рыболовного сезона, я держал путь на Ближний Восток.

В Египте я нашел то, что, как мне кажется, приводит в ислам многих. А именно – след чистого единобожия на последователях. Меня поразила его глубина – никогда в жизни я не сталкивался с подобным. Тут я встретил много мусульман, хороших и не очень, но каждый был проникнут своей Книгой больше, чем те, кого я знал раньше. С тех пор прошло пятнадцать лет, я не могу припомнить всех, или даже многих, но, возможно, даже воспоминания о некоторых смогут передать мои впечатления.

Одним был мужчина на берегу Нила около садов Микьяс, где я любил гулять. Он молился на куске картона, повернувшись лицом к воде. Я хотел пройти перед ним, но вдруг сдержал себя и обошел человека сзади, не желая помешать его молитве. Глядя не него, я увидел человека, погруженного в общение с Богом. Ему было совсем не важно, что я подумаю о нем или его религии. Я увидел в этом что-то изумительно отрешенное, непривычное для человека с Запада, где молиться у всех на виду было, по сути, единственным непристойным действием.

Помню и школьника, поздравившегося со мной у Хан аль-Халиль. Так как я немного владел арабским, а парень – английским, и очень хотел рассказать мне об исламе, то прошел со мной несколько миль в сторону Гизы, объясняя сколько успел. Расставаясь, как мне показалось, он произнес мольбу, чтобы я стал мусульманином.

Также, мой друг из Йемена, живший в Каире. Я попросил его принести копию Корана. В моем гостиничном номере рядом с креслом, где я любил читать, не было стола, и я складывал книги на пол. Когда я по обыкновению положил Коран рядом с остальными книгами, мой друг встал и поднял его с пола из уважения к Книге. Это произвело на меня впечатление, ведь друг не был религиозным, однако отпечаток ислама был и в его сердце.

Еще в памяти осталась пожилая женщина, одетая в черное с ног до головы, которую я встретил однажды после велосипедной прогулки. Моя потрепанная одежда была в пыли, и она, вероятно, приняв меня за нищего, безмолвно положила мне в ладонь монету. От неожиданности я даже обронил ее. Пока я поднимал монету, женщина поспешно удалилась. Она подала милостыню, хотя я был явно немусульманином, и не ждала ничего взамен, кроме того, что мог дать ей Господь за оказанную щедрость. Ею двигала только вера – это заставило меня задуматься.

Я очень много размышлял, пока жил в Египте, изучая арабский. Я думал, что человеку необходимо верить. Влияние ислама на жизнь мусульман (благородство целей и щедрость души) впечатлило меня больше, нежели влияние любой другой религии или даже атеизма на своих последователей. У мусульман, казалось, есть больше, чем у нас.

Разумеется, в христианстве были свои положительные моменты, но они, как будто, смешивались с путаницей. И я поймал себя на мысли, что все чаще, изучая ислам, ищу более яркое выражение той путаницы. Первым вопросом, который мы заучили из нашего катехизиса, был: «Для чего ты создан?» и правильным ответом к нему являлся: «Знать, любить и служить Богу». Когда я размышлял об окружающих меня, то понимал, что ислам предлагает наиболее всеобъемлющий и понятный способ исполнения этого изо дня в день.

Что касается сегодняшней небезызвестной политической репутации мусульман, то я не считаю это укором в их адрес или попыткой выставить их худшими среди приверженцев прочих религий или идеологий мира. Это, как мне кажется, просто нижняя ступень в более обширном круговороте истории. Чужеземное господство над мусульманскими землями наблюдалось и ранее, когда в тринадцатом веке монгольское войско тщательно истребляло исламскую цивилизацию. От степей Средней Азии и до самого сердца мусульманских стран они стирали с лица земли города и строили пирамиды из человеческих голов. Однако было предначертано появление Османской империи, которая возвысила слово Господа и воплотило его в политической системе, просуществовавшей века. Я подумал, что сейчас, должно быть, настала очередь современных мусульман поднять ислам на новую историческую ступень – дело, в котором желал бы участвовать любой верующий.

Когда друг в Каире предложил: «Почему бы тебе не стать мусульманином?», – я понял, что Господь разбудил в моем сердце желание принадлежать к этой вере, которая так обогащает своих последователей – простых, безграмотных людей и выдающихся интеллектуалов. Человек приходит в ислам не по причине долгих размышлений или стремления сердца, а только по милости Бога. Именно так, в конечном итоге, я стал мусульманином в Каире в 1977 году.

**«Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины, и чтобы не уподоблялись они тем, которым Писание было даровано прежде, чьи сердца почерствели по прошествии долгого времени и многие из которых являются нечестивцами? Знайте, что Аллах оживляет землю после ее смерти. Мы уже разъяснили вам знамения, – может быть, вы уразумете» (Коран 57:16-17)**